

ВИКТОР ГОРДЕЙ



ФЕДОРА

РАССКАЗ*

Федорина хата с подслеповатыми окошками и вогнутой, как седло, соломенной крышей торчит на отшибе Малого Села, у самого леса. Ничего приметного, за что хотя бы мельком зацепился злодейский глаз, на запущенной усадьбе нет: забор вокруг садика частично сторел в печи, частично лег на межу, а хлев всеми четырьмя углами поехал в землю, и если еще не упал, не рассыпался, то это большое диво. Хозяйка, собираясь в магазин или на колхозное поле, хату не замыкает, потому что всего богатства там — веник, вилы да кочерга. Однако милостивая, худенькая и совсем не старая еще Федора, хотя и надевает в слякотные дни резиновые сапоги на босу ногу, не хочет, чтобы ее считали законченной беднячкой.

Какая бедность, скажите на милость, если в покосившемся хлеву скребет рогами о ворота всегда голодноватая корова, в углу хрюкает досмотренный кабанчик, а у порога хаты каждое утро толчется беспокойный куриный выводок. Нужно немало пота и слез, чтобы накормить всю эту ненасытную живность, но если уж совсем пусто становится в коровьих яслях, ох как выручает лесной Имшечек, что начинается вблизи усадьбы, сразу за негустым березовым перелеском. На исходе зимы, в самую бескормицу, Федора ходит сюда по льду жать рыжую осоку, летом дерет между купин подсохший мох на подстилку кабанчику. И все было так хорошо, так обычно, но этот злы-

ГОРДЕЙ Виктор Константинович родился в 1946 году в деревне Малые Круговичи Ганцевичского района Брестской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор многих сборников поэзии, книг прозы. Лауреат литературной премии имени Ивана Мележа. Живет в Минске.

* Рассказ "Федора" входит в повествование В. Гордея "Бедна басота".

день Мартин Полозок, типун ему на язык, увидев соседку с мокрым мешком на плечах, зашлепал губами от удивления и вполне серьезно посоветовал:

— Мох, женщина, не годится на подстилку. Не сушит он мокроту, увидишь, как опять будет каша. Нет соломы, так лучше уж свинье мурашник подостлать.

— Как мурашник? — не поняла Федора. — Или смеешься надо мной? Врешь, сосед!

— Надо мне врать. Сам другой раз, когда приспичит, мурашники в хлев таскаю. Иглица долго держит сухость и грязь хорошо забирает.

Случайная встреча с глазастым соседом припомнилась как раз в начале весны, когда вокруг нечего ни взять, ни срезать, а рыжий лычатый кабанчик на самом деле шлепал в грязи по уши. Благодарная Мартину Полозку за такой разумный совет, Федора в тот же день побежала в лес, на пригреве в ельнике нашла высокий, как стожок, муравейник, распотрошила его и за две ходки перенесла в хлев. С постилкой под мышкой мотнулась еще раз на Имшечек, чтобы забрать остатки сухой трухи, и когда с немалой ношкой возвращалась домой, уже издали услышала на своем дворе невообразимый шум, визг, гвалт. Это благим матом визжал кабанчик, будто его резали, на весь белый свет кудахтали куры, будто им откручивали головы.

От неожиданного испуга Федора припустила бегом, со страхом вскочила в хлев и, глянув в пороссячий закуток, ахнула от собственной глупости. Вместе с иглицей, сама того не зная, она натаскала в пороссячий закут тьмутьмущую лесных муравьев, которые в тепле ожили и, разъяренные, тут же взобрались на рябого кабанчика, залезали ему в щетину. То ли от укусов, то ли от щекотки тот, словно ошалев, метался по загородке, лез просто на стену и, наконец, не выдержав муравьиного издевательства — разломал слабые жердочки и с обиженным хрюканьем выскочил во двор. Распатланная, потная, разъяренная Федора швырнула постилку с трухой под забор и помчалась к Мартину Полозку на расправу, потому что этому злыдню, конечно, мало и язык вырвать за дурную болтовню.

— Мартин, чтоб на тебя пранцы! Ты сдуру или нарочно ошелмивал старую бабу? Иди глянь! Мураши твои моего кабанчика до крови загрызли!

Надо было видеть, как хохотал обычно молчаливый и спокойный Мартин Полозок — хватался за живот, приседал, разве что не катался по земле. И если бы кто-то со стороны глядел в это время на хохотуна, то скорее всего подумал: с ума сошел человек, сдетинился. Даже Федора, прибежавшая сюда с одной целью — вырвать соседу его никчемный язык, испуганно отступила.

— Ты что, Мартин, белены объелся?

— Ой, не могу! Ой, насмешила! Да я ж, Федора, требую мурашники зимой, когда мураши в землю прячутся.

— Откуда мне знать, что зимой? Наносила полный закут паскудства кусачего, а теперь хоть плачь.

— Не горюй, бабка! В хлев кур загони, мурашек они любят. А завтра, глядишь, лишнее яйцо снесут.

— Опять смеешься, старая шельма? Лучше пойдешь да загородку поправь — рябой всю разломал.

Пожалуй, впервые за свою жизнь упрямый молчун и пересмешиник Мартин Полозок послушался женщины: перестал смеяться над человеческой глупостью, взял топор и потопал на Федорин двор, резонно подумав, что его ловкая соседка даже беду умеет повернуть себе в пользу. Через несколько минут в хлеву были прибиты оторванные жердочки, рябого кабанчика вместе загнали в закут, да и то после того, как там, в иглице с муравьями, хорошо попались куры. На бедняцком дворе, таким образом, установились согласие и порядок. Полозков топор возвратился в дровяной сарай, а хозяйка, успокоившись после неожиданной встряски, с нетерпением стала ждать лишнего куриного яйца, о котором со знанием дела намекнул сосед.

Не год и не два, а, наверно, с малых лет, как только взяла в руки серп, Федора жаждет разбогатеть, и над этим странным ее желанием давным-давно посмеиваются люди и в Малом Селе, и в Крутовичах, и Бог знает где еще.

Когда-то, чтобы заработать несколько золотых, она гнула спину в маёнтке па-на Обуховича, всю войну была поденщицей то у одного, то у другого богаченького, теперь вот изо дня в день раком стоит на колхозном поле, но всегда, как только приходит время подсчитывать прибыль, вдруг выясняется, что до сказочного богатства женщине не хватает как раз одного-единственного куриного яйца.

Не пророком оказался и Мартин Полозок, так как на следующий день после неслыханной расправы над мурашами яиц в гнезде лежало ровно столько, сколько было в хозяйстве кур. Федора шпионила на своем дворе, азартно бросалась в кусты, если слышалось там куриное бессмысленное кудахтанье, но напрасно — ничего лишнего нигде не находила. Ленивые куры не оставили хозяйке шанса разбогатеть, зато другая живность утешила печальную вдовину хату. С виду невзрачная, худая коровка оказалась очень удачной, *дойкой* на молоко: хватает и Федориной семье, и в Ганцевичи на базар можно когда-нибудь занести какие-то полкило масла. Рябой кабанчик, забыв про кусачих лесных мурашек, за лето вытянулся на пустой зелени, наел толстую шею: как повернется — трещит тесная загородка.

До поздней осени кабан-кормник жил не горюя, за два глотка опорожнял ведро с помоями, и, конечно, не знал он, не знал он, обжора, что в Москве его рябая шкура оценена очень высоко. Белокаменная столица вообще-то не запрещала Федоре заколоть и съесть своего откормленного кабана, однако распаневшая полешучка не должна забывать об интересах государства, это значит, забоину нужно обязательно облупить, а потом опытные сапожники пошьют замечательные хромовые сапоги если и не самому Сталину, так тоже очень большому начальнику. С таким неслыханным указанием по Малому Селу еще летом шлялся сельсоветский финагент Лакидон, убеждая селян, что “на этапе восстановления разрушенного войной народного хозяйства всем необходимо ужаться и употреблять сало исключительно без шкурки”. Федора знала, какое оно, сало, без хорошо пропеченной шкурки, и с немалым риском для себя обошлась простым выслушиванием сурового приказа, тем более что именно так поступили почти все малосельцы.

Перед самыми колядами Мартин Полозок, человек бывалый, среди ночи втихоря забил соседского кормника, осмолил на острове в Имшечке, чтобы из-за леса не было видно яркого пламени, а свежину Федора уже сама перевезла на саночках к хате. Сала, посоленного с толченым чесноком и кориандром, как раз хватило почти до нового забоя, а вот с мясом было хуже: получилась небольшая кадка, да и то без коптура, то есть без верха. Федора, кажется, не часто и ходила в кладовку, все берегла кусок полендвичи и подвяленного окорока, но как убережешь, если единственная дочка Ядзюня каждый раз сторожит скуповатую мать в двери кладовки:

— Мама, хочу менца!

— Нету менца. Солонины отщипну кусочек.

— Не хочу солонины! Менца дай!

— А моя ж ты Ядзюнька! Не хочешь солонины, то съешь гувна.

— Тогда иди на кирпичню и сама глину таскай.

— Ну, так и быть. Дам тебе менца. Но без спроса, дочушка, в кладовку не лезь, потому что нечего будет кинуть косцам в торбочку, когда поедут на болото.

Шляхетским языком, правда, перекрученным на полешущий лад и вкус, Федора сбилась с толку еще в польские времена, когда служила у помещика Обуховича и переняла чужеземный разговор от панской челяди. Ого, сколько воды уплыло в Кудахе, сколько грозных и кровавых событий произошло на белом свете, а те слова, услышанные в девичестве, почему-то не забываются. Федора и теперь, вспоминая свою службу в богатом поместье, на солнце говорит “слонце”, на мясо — “менца”, а Ядзюню, когда не в духе, называет и совсем обидно — “матолак”. Хорошо хоть дочка не обижается, поскольку не понимает, наверно, что мать обзывает ее обычной дурой. Уважение, если не сказать зависть, к шляхетскому языку не исчезли и с годами, может, потому, что в сознании Федоры этот необычный язык был связан с богатой, сытой жизнью. Две зимы бедная крестьянская девушка была

у Обуховича прислугой и вполне нагляделась, каких откормленных свиней забивают мордатые повара, как вкусно пан и пани едят, аж распирает их, а глядя на блеск и едва не царское убранство чужого поместья, ей тоже захотелось жить припеваючи, ну, не совсем чтобы дуреть от роскоши, но так, чтобы и самой, и детям не давиться всухомятку.

Пан Обухович, сухой и тонкий, как палка, разъезжал по окрестным селам на рессорной коляске, звал крестьян к себе в поместье: женщин нанимал жать рожь и копать бульбу, а мужчин — ремонтировать дом, пилить дрова и строительный лес для продажи за границу. И хотя помещик был очень строг и сердит, мог даже неожиданно перетянуть ремнем лодыря и лежебоку, местные люди шли на поденщину очень охотно — Обухович был не скуп и платил хорошо. Нельзя было сравнить заработки опытной жнеи и прислуги-сморкачки, но еще и сегодня, убираясь в хате, Федора натывается то на драное платье, то на искривившиеся отопки. Она уже и сама забыла, что покупала сама, что давала пани Тереза, что тайно дарил пан Обухович. Когда Ядзюни нет дома, Федора подолгу разглядывает старые транты, и ей, молчаливой и печальной, бывает непритворно стыдно, потому что пани Тереза вряд ли была бы столь легкой на подарки, если бы знала об ухаживаниях сластолюбивого помещика за миловидной и шустрой горничной.

Молоденькую дурочку пан Обухович так приручил, что она и сама уже не могла дожидаться, когда пани Тереза поедет куда-нибудь в гости или на прогулку, и бесстыже бросалась в объятия своего вельможного благодетеля, а после горячей, сладкой ночи осторожно кралась через лес в Малое Село, держа под мышкой то белую кофточку, то цветастый сарафан. Девичьих нарядов, собранных в основном за счет неутомимых панских ласк, было даже слишком много, чтобы с шиком, на манер богатой княжны выйти замуж за тихого, нескладного батрака Левона Чиркуна, опять же всяких платьев, а правильнее, обносков с плеча пани Терезы хватило и на первые годы беззаботного замужества, и на беспросветные долгие годы военного лихолетья. По ниточке, по пуговичке, по большой дырке, которую уже зашить невозможно, исчезли те шикарные наряды, и теперь у Федоры от когдатошнего богатства ничего не осталось — только щемящие воспоминания, печаль да эти вот старые транты, что иной раз вытаскишь кочергой из темного угла. Давно нет Обуховича — еще при первых Советах всю панскую семью вывели в Казахстан, давно нет покладистого и доброго Левона — не вернулся с войны; пустое сердце, пустая хата, но есть у женщины высокие литые резиновые сапоги, которым, кажется, век не будет сноса и в которых одинаково удобно шлепать и в осеннюю слякоть, и в зимнюю стужу.

Однако всесезонным Федориным сапогам, измазанным то навозом, то грязью, в Малом Селе, к сожалению, никто не завидует, потому что теперь и молодые, и немолодые сельчане ходят в обуви одного фасона — то, что завезут в магазин, и кроме этих сапог-сорокоходов есть у Федоры очень ценная вещь: разрисованный красными цветами, окантованный белой жестью старинный сундук. Стоит он в светлице у стены, и пускай себе стоит, есть не просит. Поднимет хозяйка выпуклую крышку, молча вздохнет: на дне лежат два или три отреза полотна, домотканое одеяло, — а так красивый, как игрушка, сундук пуст, даже пауки успели заткать углы паутиной. Размалеванная деревянная коробка для шитого и тканого богатства перешла к Федоре, наверно, еще от бабули, но Ядзюня, это рыжеватое и веснушчатое создание, вертит нос, презрительно глядит на когдатошнее матерно приданое. Ей, видите ли, подавай фанерный магазинный шкаф на две створки, где есть и полочки, и вешалки для девичьих нарядов. Ничего плохого, конечно, нет в том, что дочка любит одеваться не хуже подруг и хочет иметь все, что имеют они. Одна беда: где набраться тех грошей, если за каждым рублем надо гоняться, как кот в хлеву гоняется за паршивцем воробьем.

Переборливой, капризной Ядзюне еще повезло, что после войны, когда понадобилось много кирпича, в Круговичах небольшую панскую кирпичню расширили, построили новые печи, раскопали глиняный карьер, и на этом самодельном заводике деревенские девчата могут заработать несколько сотен себе на расходы. Малосельские сезонщицы на кирпичню бегут еще с первыми

лучами солнца, бегут и гуртом, и поодиночке, кто по извилистой лесной дороге, а кто, как Ядзюня, на работу добирается напрямки, через болотистый, мрачный Имшечек. Летом по утрам все окрестности сотрясает зычный, басовитый гудок, установленный где-то на верхотуре красной трубы кирпични. Сперва Федора пугалась неожиданного гудка, потом привыкла, перестала сердиться на заводского крикуна: будит заспавшуюся Ядзюню, и то хорошо. Не сказать, что очень охотно подхватывается Ядзюня с кровати, умывается, одевается, еще минуту выкручивается перед зеркалом и уже на бегу хватает из шкафчика узелок с едой.

— Мама, а менца дала?

— Осталось немного после косцов, то и дала кусочек.

— А Манька Тодорчина еще и яйцо берет на полдник.

— Где ж я возьму яйцо? В воскресенье продала на базаре два десятка да и купила тебе сандалеты, — непритворно вздыхает Федора и, чтобы перехитрить Ядзюню, переводит разговор на другое: — Дочушка, ты б не ходила через лес. Ходи по дороге, где людей много. Еще волки нападут — развелось за войну погани этой.

— Волков, мама, Гаврила Трофимчик давно пострелял. Ледзя его хвалилась, что батька хочет теперь бобра взять — Ледзе на воротник пальто.

— Ишь ты! Когда-то, помню, только пани Тереза ходила в бобровой шубе.

— И я хочу быть такой гжэчнай, как твоя пани Тереза! — будто поддразнивает на пороге Ядзюня и берется за ручку. — Ну, до вечера.

— Иди уже, матолак, и не дури мне голову.

Непредсказуемость поведения дочери, ее странные привычки и совсем не крестьянские, а скорее панские желания все больше начинают тревожить Федору. Ядзюня любит поспать, и разбудить ее может разве что зычный гудок кирпични, Ядзюня кушать лишь бы что не хочет — мясо ей подавай, а нету, так хоть сама мать ложись в кубелец. Рядом с этим явным панством воспоминание о бобровой шубе кажется чистым вымогательством, и здесь уже, если разговор идет о такой дорогой вещи, даже гадать не надо, чья кровь течет в жилах дочери. Если раньше Федора еще сомневалась, и укору совести мучили мало, то теперь она краснеет перед портретом покойного Левона, от которого когда-то вынуждена была утаить тайну рождения Ядзюни. Безусловно, это непростительный грех и, наверно, поэтому великую грешницу обошло стороной счастье, а богатство как ветром сдуло. Поправить жизненные дела можно только одним способом: выгодно отдать Ядзюню замуж. Думать о дочкиной свадьбе пора, потому что из неуклюжего подростка она выкинулась в хорошую девку и подбирается уже к тому опасному возрасту, когда она сама безоглядно, бездумно, потеряв разум, бросилась в горячие, трепетные объятия пана Обуховича.

Незаметно для материнских глаз Ядзюня расцвела, как майская вишня: постройнела, порозовела, налились соком груди, и это еще не все, что должно расцвести в ней, так что больших забот с женихами, похоже, не будет. Только бы не промахнуться, не купить, как говорят, блудливого кота в мешке, да к тому же лодыря и дармоеда. Из немалой гурмы деревенских кавалеров надо выбрать самого лучшего, чтобы и хозяйственный был, и Ядзюню на руках носил, и, конечно, чтобы на тещу не поглядывал искоса. Втайне выбирая себе зятя, Федора вполне принимала разве только Алексея Хомутовича, сына когдатойшей своей приятельницы Алены. Рос парень, считай, на виду: и косы не избегал, и с плутом управлялся исправно, а из армии вернулся и вовсе большим грамотеем, потому и выбрали его сразу председателем малосельского колхоза. Русский, статный и лицом не плох. Хомутович ничего дурного людям не чинит, но и хорошего тоже не делает: гоняет на работу, кричит, если что не так, чуть не до белой горячки, но самое плохое у молодого председателя, что целыми днями гарцует он на вороном коне по Малому Селу как угорелый. Беды в этом, разумеется, нет: со временем Алексей повзрослеет, гонорливость пройдет, а вороной когда-нибудь сдохнет. Иные мысли волнуют Федору: замуж Ядзюне все ж таки рановато, не отгулялась еще девка на своих гульбищах, но ждать, пока нагуляется вволю, то-

же нельзя, такого видного и выгодного кавалера тут же перехватят опытные вертихвостки.

Заполучить в семейные тенета пристойного жениха можно различными чарами и заговоренными травами, но самый надежный способ — если сидит оболтус в красном углу и, смакуя то ветчину, то палендвицу, удивляется необычному радушию и гостеприимству своей будущей тещи. Именно таким способом Федора надеется если не теперь, то следующим летом залучить в хату Алексея Хомутовича и с некоторого времени держит в тесном закуте не одного, а двух поросят. Вечно голодные лычи за версту чувят хозяйку и визжат так, что трещит хлеб. Натопавшись на колхозной работе, Федора без злости кормит прожорливое зверье, рвет для них лебеду или суренку, а когда у свинства слишком мокро, устало бежит с мешком на болотце драть сухой мох. Назад возвращается осторожно, старается кустами обойти соседскую усадьбу, чтобы случайно не встретить въедливого Мартина Полозка. Этот сивоголовый вдовец обязательно спросит, что соседка несет, и будет долго хохотать, вспоминая, как однажды она подослала кабанчику иглицу с живыми мурашами.

В своем сарае Мартин Полозок прячет парничок и медный змеєвик — эти весьма ходовые причиндалы у него придется когда-нибудь просить, вот почему хитрая бедолага молчит, ни слова не скажет про дурную насмешку. Захотела баба попасть в рай, но знает, что в рай не входят в лаптях, и еще — просто нутром чует, что бутылка крепкой, обжигающей, как перец, самогонки будущему зятю понравится больше, чем любые чары и заговоренная трава.

Перевод с белорусского Олега Ждана